

## Галина Одинцова

---

Галина Леонидовна Одинцова родилась в Спасске-Дальнем Приморского края. Образование высшее педагогическое. До 1996 года работала в органах народного образования Москвы, Алма-Аты. Учитель-методист, автор нескольких пособий по методике обучения и воспитания. В настоящее время — предприниматель. В 2007 году в Благовещенске вышел сборник её стихов «Четыре сезона любви», а в 2012-м — книга стихов и рассказов «Вопреки...». Галина Одинцова — победительница открытого международного поэтического конкурса «Золотая строфа», её стихи вошли в первый выпуск альманаха «Золотая строфа 2009». С 2010 года является блогером на сайте «Амуринфо». Номинирована на соискание национальной литературной премии «Писатель года» и «Поэт года» за 2012, 2013 и 2014 гг. По итогам конкурса её рассказы включены в сборник «Писатель года 2012. Избранное», в «Каталог современной литературы 2014». Стихи вошли в сборник литературного клуба Амурской области «Сохраним сердца». С августа 2014 года — член Союза российских писателей. Произведения вошли в 1-й том «РСП. Проза 2014».



### Рассказы. Миниатюры

---

## Горы и мечты

В детстве я любила рисовать горы. Никто не учил меня их рисовать. Никто никогда не рассказывал мне о горах. И в книжках таких гор я не видела никогда. Но я настойчиво рисовала две горы рядом: такие треугольники — до неба, а между ними — солнце. Яркое. С лучами, исходящими из дуги, которая соединяла эти две вершины гор. Гор, которых я никогда не видела.

Смутно помню одобрителный возглас отца: «О, ты нарисовала горы! Какие они высокие! Но на вершинах таких высоких гор всегда лежит снег. — Отец взял мою руку, в которой был карандаш, и стал водить ею, рисуя контур снега на вершинах гор. — Посмотри, как он лежит неравномерно... Даже если ярко светит солнце — он есть!»

И я стала рисовать снег. А между снежными вершинами — яркое солнце. Когда у меня не было настроения, я не рисовала солнце. Я рисовала облако, которое его закрыло. Оно было голубым, рыхлым, кучерявым...

Я мечтала когда-нибудь оказаться если не в горах, то рядом с ними. И мне посчастливилось жить в Алма-Ате. И более десяти лет в мои окна смотрели горные вершины Алатау, покрытые снегом. И солнышко светило так же, как на моих рисунках в детстве. Но.... это было не то. Они не были теми горами из детства, которые я рисовала.

И... вот они, горы моего детства, моей мечты. Я встретила с ними. На шестьдесят третьем году своей жизни. Никогда не думала, что когда-нибудь



буду на Кавказе. И что эти горы, горы из детства, изображенные на моих рисунках, всплывут из-за горизонта! Это будут они! С острыми вершинами, обласканными солнечными лучами, и со снегом, лежащим неравномерно и сверкающим на солнце.

У меня остановилось дыхание от неожиданности. Но сердце, которое готово было вырваться от счастья из груди, вернуло к реальности и пониманию, что, конечно, конечно же, мечты сбываются. Даже если они очень детские и наивные.... Это были они, горы из моего далёкого детства.

## Куркули

Давным-давно это было. Наша семья приехала в гости из Москвы к маминной сестре Ольге в амурскую деревню. Деревня была не очень большой — всего несколько улиц, — вся в зелени, в георгинах, яркие разноцветные головки которых торчали из-за деревенских заборов. Весь день мы проводили на свежем воздухе, спали под черёмухой в саду, а по вечерам собирались во дворе под навесом ужинать. Отец сделал переноску с лампочкой под навес, что было в диковинку деревенским. Со всей деревни приходили посмотреть на это новшество. И отец пошёл по деревне нарасхват, чтобы провести свет на «вульцу».

С раннего утра все начинали работать. Дядько Иван уходил на поле, тётка Ольга — на ферму. Даже гостям доставалось: прополка огорода, сбор ягод, готовка обедов и ужинов. А по вечерам надевали красивые одежды, жарили огромную чугунную сковородку картохи на сале с грибами, дружно усаживались за большим столом и ужинали, а потом «спивалы» яркие, звонкие, сочные, залиvistые украинские песни. Мы, ребятишки, под эти песни быстро засыпали, и никакие комары нас уже не трогали.

Каждый вечер на свет и звонкое пение сбегалась почти вся деревня. Кто стоял, опершись на шаткий, сплетённый из прутьев ивы, забор, кто со своей долей выпивки и закуски проходил во двор к столу. Скамеек не хватало. Сидели на перевёрнутых вёдрах, на ступеньках крыльца, чурочках. А однажды, помню, какой-то весёлый мужичок восседал на поставленном стоймя берёзовом полене. Как это было смешно! И никаких споров или ссор ни разу не было.

Напротив дома наших родственников был дом, которого не было видно за высоким забором, но его красная крыша, ярко блестящая на солнце, завораживала, манила. Что это за дом? Кто там живёт? Почему ворота такие плотные и всегда закрыты?

— Куркули, — коротко сказала тётя Оля, плюнула в сторону высокого забора, поправила платок и, звякнув алюминиевым ведром, пошла доить корову.

Куркули? Что это значит? Кто они такие? Покоя мне не давали эти куркули. Утром я выскользнула со двора и пошла к плотному высокому забору. Ни одной щёлочки. Тишина...

Вдруг створка больших ворот приоткрылась — и худенькая ручонка поманила меня к себе:

— Ходь сюды, дивка! Швыдче, швыдче!



Я прошмыгнула во двор, и плотные, высокие ворота с глухим скрипом за-творились. Я прижалась к ним изнутри и замерла, поражённая увиденным.

— Це ваши придурки горланять всякий вечер, як причинковатые?

Я киваю головой и заворожённо осматриваю двор. Чистота. Удивительный порядок и чистота: деревянные настилы между грядок и клумб с цветами, высокое крыльцо с крашеными ступенями. Огромная рыжая кошка, томно развалившаяся на солнышке...

Белокурая девочка лет тринадцати, худенькая, в ситцевом сарафанчике, приветливо улыбалась мне.

— Вы куркули? — спросила я. — Что это?

— Нэ знаю. Мэни нихто нэ говóрил. Пишлы! Тэбэ як зовуть?

— Галя.

— А мэна Ганка! Пишлы варэныки исты! Мамка с творогом навертела.

Наевшись вареников с творогом, земляникой и густой сметаной — вкуснее никогда ничего не ела! — мы принялись бегать по дорожкам и громко смеяться. Рыжий кот не отставал от нас и постоянно пытался залезть ко мне на колени, если мы приседали.

— Нас тут нэ люблять. Мы укалываем с утра до ночи, а воны — голытьба. Тильки писни горланить! Даже забор поправить не могут...

Но я мало чего в этом понимала, а про забор запомнила очень хорошо. Потому что тётка постоянно выговаривала дядьке, чтобы забор, наконец, выправил! А то скоро соседские свиньи в огороде купаться будут. Но дядька накрывал лицо соломенной шляпой и мирно засыпал на лавке под сенцами. Очень лень его мучила — так он каждый день, как выпьет, жаловался моему отцу.

— Галька, Галька!!! — слышалось за забором.

— Це тэбэ клычуть! Беги, а то попадэ!

На второй день я опять попала во двор куркулей. Мама Ганки всё расспрашивала меня: «Як вы там гуляетэ?.. А яка вона, Москва?..» Кормила густым борщом с пампушками и гладила меня по голове:

— Москали... Яки вы интэрэсные, москали!

Когда я вернулась, дядько Иван строго и как-то недоверчиво спросил:

— Шо, ты и впрямь у куркулей была?

— Да... — Я задрожала, думая, что он будет меня ругать.

Дядько встал, отряхнулся, подтянул штаны, шмыгнул носом, провёл рукой по своим торчащим в разные стороны, как у таракана, усам, решительно пошёл со двора. Все онемели и молча смотрели дядьке вслед. Он подошёл к воротам куркулей и начал стучать по ним кулаком.

Вышел хозяин — отец Ганки. Дядько, стоя навтыжку, что-то сказал, махнув рукой в наш двор. Ворота с грохотом закрылись. Дядько пошёл назад, почёсывая редкие волосёнки на голове.

— Готовьте, бабы, стол. Куркуль прийдэ...

Все были в шоке. Забегали, засуетились. Понесли запасы на стол. Отец даже лампочку поменял на более яркую.

Выставив угощения, сели кто куда и ждут. Электрическая лампочка лениво раскачивается над столом с малосольными огурцами, помидорами, салом, нарезанным толстыми шматками, и прожаренной заново картохой — но уже с



луком! В центре — бутылка с самогоном. Дядько кряхтя выставил её на стол, тихо матерясь и жалея, что на скорый праздник нечего дерябнуть будет.

— Галю, Галю!.. — Первой во двор забежала Ганка. — Який же сьогодни праздник! Мы у гости до вас прийшли!

Мы обнимались с ней, как родные сёстры, которые давно не виделись.

А куркули — с бутылками мёда, самогонки, с крынками грибов и солёного сала, наряженные в новые одежды, — заходили к нам во двор.

На следующий день отец провёл свет во дворе куркулей.

И нас провожали в Москву уже из их двора. Высокие ворота были открыты настежь. По дощатым дорожкам, стараясь не оступиться на грядки и цветники, шли к столу, в центр двора, наряженные в праздничные платья и рубахи односельчане. Яркая лампочка качалась над столом, освещая счастливые лица соседей. Полусонные ребятишки, сбившись в кучку на высоком крыльце дома куркулей, подпевали взрослым. И уносились в ночное небо звонкие песни, дружно распеваемые всем селом....

## Метель

В комнате полумрак. Одинокая тусклая лампочка на длинном скрученном проводе спускается с потолка. Её матовая желтизна скупно освещает небольшую территорию маленькой комнаты. На улице день, но в маленькие окошки не льётся дневной свет. Они полностью завалены снегом. Снег плотно прилегает к стёклам, горкой лежит и не тает между деревянными рамами, кое-где пробился из щелей на узкий некрашенный подоконник. В комнате холодно. Очень холодно. Воздух пахнет морозом. Мороз живой, он пробирает до слёз.

Мне почти семь лет. Я лежу под тонким байковым одеялом в полоску. Поверх одеяла — моя шубка из цигейки, купленная летом в деревне у бабушки из автолавки за небольшую цену: иначе не купили бы. Рядом младший брат. Ему тоже холодно. Он жмётся ко мне своим худым телом и скулит, как щенок. Он хочет есть. Мама ещё не кормила нас. Она лежит в полумраке на такой же солдатской железной кровати, как и у нас, у противоположной стены. Не шевелится. Глаза закрыты. И мне страшно. Потому что вместо глаз я вижу чёрные круги, а очертания лица неясны и расплывчаты. Брат достал меня своим нудным нытьём, и я пинаю его ногой. Он отбивается и скулит ещё громче.

Мама зашевелилась. Я замираю, вся дрожу. Не узнаю свою маму. Боюсь. Брат, чувствуя мою дрожь в теле, мой страх, затихает и укрывается одеялом с головой.

— Доченька, подойди...

Мне не знаком этот слабый голос, я знаю другую маму — хлопотливую, заботливую, ласковую.

— Доченька, иди ко мне!

— Нет! Я не пойду! — плачу я. — Я тебя боюсь. Ты не моя мама, ты чужая! Моя мама не такая!

Пятилетний брат противно ноет под одеялом. Он дышит мне в спину. Мне становится жарко. И это меня ещё больше раздражает! Это меня бесит, и я луплю его по пальто, которое наброшено на одеяло с его стороны. Родители всег-



да укрывали нас на ночь верхней тёплой одеждой, потому что барак, в котором жили, не держал тепло.

— Доченька, подойди, это я, мама.

Из-под одеяла показалась худая рука и поманила меня к себе. Я закричала во всё горло и нырнула под одеяло к брату. Мы оба кричали во всю мочь, крепко обнявшись. Стало очень жарко — и мокро от слёз... Но никто нас не убивал и не трогал. Я осторожно высунулась из-под одеяла. Мама сидела на кровати, спустив голые ноги. Она плакала — я видела её трясущиеся плечи. Я начала узнавать свою маму. Я узнала привычный жест руки, поправляющей волосы, её плечи, ноги.

— Мама! — закричала я, спрыгнула с кровати на ледяной пол и бросилась к ней.

— Валенки! Надень валенки, доченька, а то простынешь. Заболела я сильно. Папе ничего не сказала — он на шахту ушёл на сутки. Надо за хлебом пойти, а я встать не могу. Сходишь?

Мама гладила меня по голове. Я чувствовала, как её рука, лёгкая, почти безжизненная, прикасается к моим волосам. Мама прикасалась губами к моим щекам, а губы её были сухими и холодными. Мамины глаза были чужими. Они глубоко провалились в глазницы и блестели непривычно и холодно.

На мне моя шубка из цигейки, купленная на вырост. Штаны с начёсом натянуты поверх валенок, чтобы снег не попадал. Валенки подшиты, хотя правый на пятке уже протёрся. Снег забивался в эту дырку и морозил пятку, но я не говорила об этом отцу, боялась: будет ругать за то, что так скоро продырявила подошву. Шерстяной платок накинут на плечи, скрещён на груди и накрепко завязан сзади. Ненавижу этот платок: он сковывает движения, давит, мешает рукам. Ещё эта шапка! Наползает на глаза, а резинка сдавливает подбородок и ощущается узлом на макушке.

Я иду по длинному коридору барака, раскинув в стороны руки: из-за такого количества одежды они не прилегают к моему телу. Руки — в вязаных варежках на резинке, в ладошке — двадцатикопеечная монетка. Коридор тёмный и длинный. За закрытыми дверьми кипит жизнь, оттуда слышатся плач детей, гармонь, песни и крики...

Я бегу в магазин. За хлебом. Впервые в жизни ухожу из дома одна.

Дверь из барака на улицу тяжёлая, открывается туго. Обычно мама открывает её и держит до тех пор, пока мы с братом не вывалимся за порог. Сегодня мамы нет рядом. Я как могу толкаю эту дверь всем телом, пинаю ногой, пытаюсь открыть, разбежавшись издалека. При одной из попыток, когда я ещё не добежала до двери, она открылась, и я вываливаюсь за порог, в снег. Полупьяный сосед с бутылкой в руке выругался, видимо, испугавшись. Я чуть не задохнулась от ветра со снегом, ударившего неожиданно мне в лицо. Повернувшись спиной к ветру, медленно продвигаюсь в сторону магазина, до которого путь был не очень-то близкий и лежал через подъём на горку.

Ветер сбивает с ног. Снежная метель не щадит меня. Я падаю, поднимаюсь, опять падаю, но двигаюсь вперёд. Вот она, горка. В хорошую погоду мы с братом и родителями катались с неё на санках, которые отец сделал сам. Санки



были многоместными, полозья тонкими, чугунными, они отлично скользили. И ещё на них была спинка — ажурная, высокая, крепкая. Наши санки пользовались успехом у жильцов барака. И отец гордился ими. Разрешал пользоваться всем соседям по очереди.

Ветер не даёт забраться на гору. Я ползу наверх по снежной горе, но, не достигнув цели, скатываюсь вниз. Ещё раз. Потом ещё много раз упорно лезу наверх. Варезки промокли и задубели от снега, рука, сжимающая двадцатикопеечную монету в варезке, занемела. Горячие слёзы катятся по щекам, они жгут замёрзшие щёки, а я никак не могу забраться на эту горку. Ветер сметает моё тело вниз раз за разом.

Вдруг чьи-то сильные руки подхватывают меня, несут и ставят на ноги уже наверху.

— Кто ж тебя из дома-то выпустил? — возмущённо проговорил незнакомый мужчина и пошёл прочь быстрыми шагами, нагнувшись и укрываясь от ветра поднятым большим воротником пальто.

Я вваливаюсь в магазин, как снежный ком. Ни говорить, ни двигаться уже не могу. Продавщица выскочила из-за прилавка и стала меня трясти, как грушу, развязала платок, сняла шапку, растёрла своими горячими ладонями мои щёки.

— Кто ж тебя отправил-то из дому, горемычная? — приговаривала она. — Что ж за мать такая, что ребёнка выпустила в такую пургу!

— Мама заболела, — чуть слышно бормочу я. Меня клонит в сон от тепла и растираний. Продавщица силой раскрыла мои пальцы и извлекла из ладони двадцать копеек.

— Зачем пришла-то?

— За хлебом, — промямлила я.

Добрая женщина напоила меня горячим чаем с сахаром. Вытряхнула снег из валенок, обмотала обёрточной бумагой мне ноги и надела валенки, натянула на них штанины с начёсом, снова укутала меня, крепко завязав платок сзади, достала у меня из кармана сетку-авоську, положила в неё буханку душистого хлеба и привязала сетку к моей руке.

— Чтобы по дороге не потеряла. Пурга-то какая на дворе, ветрище-то так и воет! Ну, иди, детка, с Богом. — И выпроводила меня за дверь.

Теперь ветер дует в спину и подгоняет так, что приходится бежать. Я падаю, поднимаюсь и бегу дальше. Кубарем скатываюсь с горы. Привязанная к руке сетка с буханкой хлеба бьёт то по голове, то по животу. Но я не чувствую боли. Я понимаю, что уже осталась бы без хлеба, если бы не привязали сетку к руке. Сетка тащится за мной по снегу а я, едва удерживаясь, чтоб не упасть, вприпрыжку несусь домой. Тяжёлая дверь не поддаётся. Ветер силой прижимает меня к ней. Обняв буханку, я через дырку в сетке грызу корочку хлеба вместе со снегом и бегущими градом слезами. Вдруг дверь открылась, и из неё вывалился тот же сосед, уже сильно пьяный. Он громко ругается в тёмный коридор. Я прошмыгнула под его рукой в барак и побежала к своей двери.

Мама по-прежнему лежит на кровати и не шевелится. Брат тихо сидит рядом с ней в своём зимнем пальто — голые ступни ножек торчат из-под полы. На голове у него меховая шапка. Я подбегаю к брату, и мы пытаемся отвязать сетку от моей руки зубами. Кое-как справившись с крепким мокрым узлом, по очереди



кусаем мокрый хлеб. Мама открыла глаза. Мы откусываем маленькие кусочки хлеба и суем ей в рот. Но мама не может есть, она выплёвывает их. А мы тихо плачем, и гладим её по голове, и целуем её ставшее таким незнакомым лицо.

— Пи-и-ить... — тихо шепчет мама.

Чайник на плите, и я не могу дотянуться до него. Ведро с водой стоит на стуле у дверей. Вода в ведре замёрзла. Железной кружкой пробиваю тонкую корку льда и зачерпываю ледяной воды. Алюминиевой ложкой набираю по капле воды из кружки и даю эти капли маме.

К вечеру заглянула соседка. Увидев нас, она запричитала и увела всех в свою тёплую комнату. Накормила жареной картошкой, напоила горячим кипятком с сахаром, уложила спать.

Утром пришёл с работы отец. Натопил комнату, сварил суп. Через несколько дней мама стала поправляться. И жизнь потекла своим чередом...

И много лет мне снится, как я ползу наверх по снежной горе, но, не достигнув цели, скатываюсь вниз! Однако я упорно лезу наверх...

## Наумиха

Наумиха стояла, опершись на узкий подоконник кухонного окна, и считала ворон. На тополе, что растёт на противоположной стороне улицы, их — черным-черно. Чего-то там копошатся, с ветки на ветку перелетают. Мешают сосредоточиться. Наумиха водила указательным пальчиком по стеклу, боясь пропустить хоть одну ворону, но... бесполезно. Никак не получается у Наумихи закончить подсчёт. Занервничала женщина, с ноги на ногу переступает, глаза трёт кулачком, так уж устали они от напряжения. Вдруг взлетели вороны разом и, покружив тучей над тополем, улетели. Чуть не задохнулась Наумиха от такого коварства! В какой раз вот так они неожиданно срываются и улетают!

И теперь только услышала тонкий, противный писк чайника на плите. Почти выкипел чайник, надорвался пищать своей хозяйке, пока та ворон считала!

— Батюшки! Из-за этих птиц чуть чайник не сожгла, — запричитала она, хватая раскалённую рукоятку чайника полотенчиком. — Совсем ума лишилась из-за них! И чего им на месте не сидится? Каркают, шумят, орут уже какой день, как ненормальные!

Налила снова воды из-под крана, поставила на огонь. Подошла к окну. А сегодня утро особенное. Первоянварское. Позднее. Да и день — самый короткий в году: люди не спешат просыпаться. К обеду только на дорожке под окнами первые прохожие появились.

— Загостевались, — произнесла женщина, поправляя волосы и снова устраиваясь поудобнее, положив руки на узкий подоконник, — по домам расходятся. О! А Иван-то уже с пол-литрой мчит. Вчерашнего не хватило! — захихикала беззлобно наблюдательница. — Смотри-ка, даже «собачники» в тапках стоят у подъезда, пока собачки делают свои дела непривычно быстро! Вот умницы! Не то что эти вороны! И чего они унесли? Уж какой день пересчитать эту стаю не могу! Что за сборища устраивают, о чём так спорят?



Внизу, под окном, голуби воркуют. Воробышки между ними мохнатыми мячиками подпрыгивают, торопливо глотая незаметные крохи. Наумиха каждое утро сыплет пшено за окно. Но голуби каждый день здесь — одинаково скучны, предсказуемы, неинтересны, а вот вороны! Они не такие... Загадка в них.

Наумиха вздохнула коротко, развернулась от окна, пошатнулась от темноты в пространстве кухни, потому что глаза к свету за окном привыкли, всплеснула руками. Чайник снова выкипал, выплюнув надоевший свисток на пол.

Наумиха, она же Мария Ивановна, налила кипятку в кружку, бросила в него пакетик с чаем, села за стол. И заплакала. Не навзрыд, не в голос, а одними глазами. Крупные слёзы катились по круглым щекам, капая в свежесваренный чай, а она дула в чайную жидкость, поднеся её близко к губам. Не сделав ни глотка, поставила кружку на стол, встала, прошла в комнату. Включила тусклый свет. Подошла к стене, на которой развешены фотографии детей, внуков, погладила каждую ладошкой, взяла в руки фото мужа:

— Хоть ты приезжай поскорее, дружок, раз дети наши не едут так долго. Дела у них, работа, совсем некогда к родителям на пару деньков заглянуть. Да и далеко, не налетаешься — дорого. Всё так дорого!

Впервые Мария Ивановна встречала Новый год одна. Муж перед праздником умчался к сестре, заболевшей серьёзно, когда вернётся — неизвестно.

Включила телевизор, села в кресло. Посидела, посмотрела — ничего не понравилось. Нет тех песен и фильмов, что были раньше. Позвонить тоже некому: подружек почти не осталось. Да и о чём разговаривать-то — о погоде? О детях сказать нечего: стыдно признаться, что не едут долго, звонят редко, заняты уж очень. К подружке одной-единственной приехали дети на пару дней, сюрприз устроили родителям. Даже не хочется им звонить, слышать их довольные возгласы да восхищения.

Наумиха вернулась на кухню, вылила в раковину остывший в кружке чай, снова поставила чайник на огонь.

Подошла к окну. Лёгкий снежок нехотя кружит в свете окна и тает в темноте. В доме напротив почти нет огней. И только кое-где в тёмных окнах мелькают разноцветные новогодние гирлянды на невидимых ёлках.

Засвистел чайник. Пронзительно, вздёргивая каждый нерв. Мария Ивановна выключила газ. Сняла чайник. Налила в кружку кипяток. Села за стол. И застыла. С кружкой в руке. Сколько посидела — неизвестно.

Наверху загремела музыка, задвигали стульями, начали бегать дети, топя изо всех сил.

— Гости. Пришли гости к соседям. Радости-то сколько! Вот и мои бы так же... если бы приехали.

И тут Наумиху прорвало. Она заплакала. Сначала тихо, потом навзрыд, потом ещё громче, почти воя. Но музыка наверху у соседей так гремела, что никто и не слышал её отчаянного плача.

Вымотав себя, женщина умылась, достала сердечные капли, накапала в кружку с остывшим кипятком, выпила залпом. И, не раздеваясь, легла спать поверх покрывала, укрывшись шерстяным пледом.

Соседи наверху задвигали стульями, ритмично затопали под музыку. Захлопали двери, по подъезду забежали дети. Родителям было уже не до них. Мария



Ивановна сквозь сон забеспокоилась: «Вот что за родители, не смотрят за детьми, потом плачут». И словно провалилась куда-то. Действовали успокоительные капли. Да и поздно уже было, далеко за полночь.

Всю ночь снились дети, муж. Мария никак не могла понять, откуда они: как наяву, разговаривают, по голове гладят, в щеку целуют. Внуки посмеиваются, берут её за руки, тянут куда-то...

Проснулась измученная Наумиха поздно. Села на кровати. Что-то было не так. Не так, как всю прожитую в тоске неделю. Не было чувства холода, которое бывает в одиночестве. Воздух был другим. Он был гуще, но чище и ароматнее. Он был живым, тёплым. Он не настораживал и не беспокоил. Он плотно окутывал другой аурой. Он состоял из других частиц. Она чувствовала, что он изменился, но не могла понять — в чём и почему.

Мария прошла на кухню. Поставила чайник, подошла к окну. Вороны с громким гвалтом уже кружили над тополем. Они улетали.

— Так и не сосчитаю их никогда, — взгрустнула Наумиха. Открыла окно. Привычно бросила вниз горсть пшена. Со всех сторон посыпались вниз воробьи. Затем, захлопав крыльями, не спеша слетелись голуби.

На сердце было тоскливо и одиноко. Она горько вздохнула, из открытых глаз лились тёплые слезы, они текли по щекам и стекали к ушам, по шее, вниз. Повернулась, чтобы выключить возмущённый закипевший чайник, — да так и застыла от изумления.

Муж, дети, внуки — вся семья Наумихи, — улыбаясь, молча наблюдали за ней. Они стояли на пороге кухни с огромным тортом в коробке с большим бантом, с шампанским и букетом из еловых веток.

Наумиха долго смотрела на близких, не веря своим глазам. Потом рухнула на стул и заревела во всю мощь. Она избавляла своё сердце от горького одиночества, которое так давило её всё это время...

## С праздником тебя, мамочка!

Я дарю букет. Из хризантем. Они свежие, упругие. «Недавно из холодильника», — так сказала мне милая девочка, выбирая цветы из большой вазы на полу. Моей маме нравятся хризантемы. Нравится их хвойный терпкий запах. Она гладит взъерошенные бутоны худенькими пальчиками, подносит их к лицу, прикрывает глаза и молчит. Замирает на несколько секунд, погрузив морщинистое личико в роскошный фонтан из лепестков лимонного цвета. Я подношу хрустальную вазу с холодной водой. Мама бережно погружает стебли в чистую воду, поглаживая каждый цветок, расправляет примятые листочки, приподнимает вазу и снова прикасается губами к живым цветам...

— Какая красота! — тихо шепчет она. — Спасибо тебе, доченька....

Только этих слов я не услышу уже никогда. И ваза, в которую я опускаю букет, не из хрусталя, а из чёрного камня. «С праздником тебя, мамочка!» — тихо шепчу я. И она смотрит на меня с мраморного памятника с теплом и благодарностью. Ведь жёлтые хризантемы — её любимые цветы...